



THE HISTORY OF THE
CITY OF LONDON

J. G. Nichols

Игнатий Николаевич Потапенко

Два дня (Записки старого студента #11)



Игнатий Николаевич Потапенко — незаслуженно забытый русский писатель, человек необычной судьбы. Он послужил прототипом Тригорина в чеховской «Чайке». Однако в отличие от своего драматургического двойника Потапенко действительно обладал литературным талантом. Наиболее яркие его произведения посвящены жизни приходского духовенства, — жизни, знакомой писателю не понаслышке. Его герои — незаметные отцы-подвижники, с сердцами, пламенно горящими любовью к Богу, и задавленные

нуждой сельские батюшки на отдаленных приходах, лукавые карьеристы и уморительные простаки... Повести и рассказы И.Н.Потапенко трогают читателя своей искренней, доверительной интонацией. Они полны то искрометного юмора, то глубокого сострадания, а то и горькой иронии.

Произведения Игнатия Потапенко (1856–1929), русского прозаика и драматурга, одного из самых популярных писателей 1890-х годов, печатались почти во всех ежемесячных и еженедельных журналах своего времени и всегда отличались яркой талантливостью исполнения. А мягкость тона писателя, изысканность и увлекательность сюжетов его книг очень быстро сделали Игнатия Потапенко любимцем читателей.

**Игнатий Николаевич
Потапенко
Два дня**

Очерк с натуры

Удивительно быстро наступает вечер в конце зимы на одной из петербургских улиц. Только что был день, и вдруг стемнело. В тот день, с которого начинается мой рассказ — это было на первой неделе поста, — я совершенно спокойно сидел у своего маленького столика, что-то читал, пользуясь последним светом серого дня, и хотя то же самое было во все предыдущие дни, чрезвычайно удивился и даже озлился, когда вдруг увидел себя в полутьме зимних сумерек. Дело в том, что в прежние вечера в подобных случаях я сейчас же зажигал свечу, и сумерки для меня не существовали. В этот же вечер, по тщательном исследовании, оказалось, что накануне сгорел не только последний огарок, но даже как будто подгорел медный подсвечник, покрытый зелёным слоем каких-то химических соединений, которые все может назвать и определить Каллистрат Иванович. Я очутился во мраке. Когда у меня нет дела, я имею привычку, заложив руки за спину, бродить из угла в угол. Но как только я принялся за это занятие, мне тут же стало ясно, что оно представляет

множества неудобств и скорее похоже на самый тяжёлый труд, чем на отдых. Углы моей комнаты так близко отстояли один от другого, что не успевал я сделать двух шагов, как уже приходилось поворачивать назад. Кроме того, в комнате были кое-какие усложняющие обстоятельства, которые ещё более затрудняли мою прогулку.

Нельзя было пройти мимо высокого угловатого комода, украшенного тремя коробками, в которых некогда помещалось по четверти табаку в каждой, — чтоб не зацепить его. При этом инвалид-комод непременно хромал на одну ногу, так как у него исправных было только три, и всякий раз словно считал своим долгом наклониться, как будто прибавляя при том: «Pardon, monsieur». Вежливый комод оттого, впрочем, наклонялся с такою лёгкостью, что он был совершенно пуст и, как ненужная вещь, должен был заискивать у своих хозяев, чтоб его не вытащили вон. Большое препятствие представлял также единственный стул, который всякий раз нужно было переступать, потому что отодвинуть было некуда. Что же касается коротенькой

железной кровати и кое-чего, носившего название дивана, которые стояли рядом, так что одна служила продолжением другого, они, по видимому, благонамеренно занимали свои места и не предпринимали против меня никаких ухищрений.

Впотьмах, когда нет ни малейшего желания заснуть, в голову обыкновенно приходят целые вереницы мыслей. Разные бывают эти мысли, смотря по тому, на чьих плечах помещается голова. Всякому видится своё, особенное. Что же касается меня, то хотя я и не имел ни малейшей причины веселиться, в голову мою лезли самые весёлые мысли. Не подумайте, пожалуйста, что эти мысли были гражданского свойства, что я думал о судьбах моего отечества или что-нибудь в этом роде. Нет, я считал себя слишком маленькою дробью в общем великом числе, и просто-напросто думал и был уверен в том, что Каллистрат Иванович, возвратясь из клиники, принесёт с собою полфунта колбасы и столько же хлеба — вот причина моего весёлого настроения. Откуда проистекала моя уверенность, этого я не могу сказать. По крайней мере у меня было

гораздо больше данных думать совершенно противное. Но дело в том, что мне этого ужасно хотелось, а легковверные люди уверены именно в том, чего им хочется, я же, нужно вам сказать, человек легковверный. Я знал, что у Каллистрата Ивановича денег нет и не будет, и тем не менее был уверен в том, что он принесёт колбасу. Дело в том, что мы с Каллистратом Ивановичем...

Но вы не знаете, кто это Каллистрат Иванович. Каллистрат Иванович был ни больше ни меньше как студент медико-хирургической академии. Большую часть дня проводил он в подвалах профессора Грубера, вследствие чего от него вечно несло «анатомией», как деликатно выражалась Марья Карловна, наша квартирная хозяйка. Вы понимаете, что «анатомия» здесь употреблена в смысле обыкновенной мертвечины, которой главный склад находится на Выборгской стороне. Нрава Каллистрат Иванович был кроткого и, как кроткие люди, после обеда любил пофилософствовать, что в последнее время, впрочем, делал очень редко, так как редко обедал. Он был замечателен тем, что, кроме двух воротничков

и одной пары манжет, ничего своего не имел; это давало ему повод сокрушаться, что у него слово расходится с делом, «ибо говорил он, я собственность признаю, на деле же собственности не имею». Платье, сапоги и плед он носил чужие, хотя решительно не мог сказать, кому именно что принадлежало. Кроме упомянутых воротничков и манжет, у него была ещё пара бакенбард, совершенно белых, которые он считал своей неотъемлемой собственностью и ни за что не хотел сбрить их, дабы, по его словам, лишившись этой подвижности, окончательно не превратиться в пролетария.

Так вот, с этим-то Каллистратом Ивановичем мы, можно сказать, наполняли ту маленькую комнату, которую я только что описал. С ним поочерёдно сидели мы на нашем единственном стуле и поочерёдно прохаживались по комнате, так как во время прогулки одного из нас другой непременно должен был лежать в кровати.

После десятиминутной борьбы с препятствиями, я почувствовал сильную усталость и даже ощутил выступивший на лице пот. Мне оставалось лечь на кровать: если не считать

уже достаточно насиженного стула, другого исхода не было. Я так и поступил. Не успел я почувствовать некоторую охоту ко сну, как послышался звонок, затем шипящие шаги Марьи Карловны, звук отпираемых дверей, наконец, в комнату вошёл Каллистрат Иванович. Я его, конечно, не разглядел впотьмах, но тем не менее с уверенностью мог сказать, что это был он. К людям, к которым мы привыкли, мы становимся крайне чутки, мы распознаём их по походке, в тишине по звуку дыхания и ещё мало ли по чему, а чаще всего распознаём бессознательно. Притом же неразлучный с Каллистратом Ивановичем запах «анатомии», хотя я и привык к нему, всё-таки был мне доступен. Словом — я почувствовал присутствие Каллистрата Ивановича, но своего присутствия не проявлял, желая посмотреть, что он предпримет во мраке. Пусть это похоже на ребячество, но я должен признаться, что это меня очень занимало. Прежде всего он зажёт спичку и увереннейшим образом поспешил к подсвечнику, но в ту же минуту был разочарован. Видя его недоумение и комическую досаду, я не выдержал и расхохо-

тался.

— Послушай, неужели у нас нет свечи? — спросил он тоном такого удивления, как будто это совершенно небывалая и невозможная вещь.

Это рассмешило меня ещё больше.

— Что тут смешного, не понимаю! — злился Каллистрат Иванович. — Неужели мы будем сидеть впотьмах?

— Конечно, если по какому-нибудь торжественному случаю солнце не взойдёт прежде времени, — ответил я, продолжая смеяться.

— Чёрт знает, что такое! У меня завтра экзамен у Грубера... Я должен целую ночь заниматься! — угрюмо заявил Каллистрат Иванович, садясь у стола на диван. Минуты две мы помолчали.

— Экую я глупость сделал! — заговорил он опять, почёсывая голову. — Представь, брат, у меня было четырнадцать копеек. Иду, знаешь ли, вот здесь на углу Литейной и Захарьевской — газетчик соблазнил, купил газету за семь копеек. Теперь вот изволь читать её впотьмах. Лучше бы за те же деньги купить свечу.

— А остальные семь? — спросил я с таким интересом, как будто дело шло о тысячах.

— Да остальные целы, вот они!

При этом он торжественно выбросил на стол свои семь копеек.

— Да что в них толку! — жалобно прибавил он.

— Свечу можно купить.

— Конечно. Но знаешь ли, я сегодня кроме воздуха ничего ещё не принимал внутрь и, признаюсь, чувствую такой аппетит, что, кажется, съел бы всё.

— Так ты боишься, что не донесёшь свечу из лавки, съешь на дороге?

— Да не то! А знаешь ли, во мне происходит борьба. Свечу купить, или хлеба на семь копеек? Того я другого никак нельзя. А ведь ты тоже, должно быть, ничего не ел сегодня?

— То-то и есть, скажи ты мне, с чего это ты вздумал покупать газету? Кажется, можно было понять, что при таких обстоятельствах все эти культурные потребности следует к чёрту... А я был уверен, что ты принесёшь колбасы.

— Ну, брат, о колбасе ты мог бы отбросить

всякие мечты, — решительно заговорил Каллистрат Иванович, — и что в ней хорошего? Одни трихины и больше ничего. Самое безопасное — это хлеб.

— Потому что самое доступное. Я думаю, что если б тебе сказали: вот колбаса, начинённая трихинами, ты проглотил бы и её.

— Знаешь, что я тебе скажу: не упоминай ты, ради Бога, о колбасе! Ну, как же быть с нашим капиталом?

Вопрос действительно представлялся серьёзным. Едва ли дипломат когда-либо находился, в таком затруднительном положении, как я в ту минуту. Я знал очень хорошо, что если Каллистрат Иванович не будет заниматься ночью, то завтра не выдержит экзамена. С другой стороны голод начинал не на шутку пронимать меня, чувствовалось действительно нечто вроде сжимания сердца, чему способствовало воспоминание о колбасе.

— И к чему было покупать газету! — озлился я наконец, не находя исхода.

— Да видишь ли, сегодня газеты должны быть интересны, судя по предшествовавшим событиям, — говорил Каллистрат Иванович,

как бы оправдываясь передо мной, — притом же я совсем позабыл, что вчерашний огарок кончился, и рассчитывал на эти семь копеек купить хлеба.

— Вот что сделаем, — наконец, предложил я, — можно купить за три копейки сальную свечку, и на остальные четыре — фунт чёрного хлеба.

— Но это ужасно неловко! — возразил Каллистрат Иванович. — Представь, что входит в овощную лавку господин, одетый более или менее прилично, и спрашивает фунт чёрного хлеба и сальную свечу... Это ужасно неловко, я по крайней мере отказываюсь идти.

— Да это ты с чего конфузиться вздумал? — спросил было я, но тотчас же вспомнил, что Каллистрат Иванович ещё только полгода в Петербурге и потому ещё не вполне усвоил смысл одеяния «более или менее приличного».

Я взял со стола семь копеек, надел пальто и вышел на улицу. Ночь стояла непривлекательная. На улицах валялся не то снег, не то грязь; ни тепло, ни холодно, но зато сырость так и пронизывала насквозь; несмотря на

темноту, свет фонарей казался жалким, потому что ему приходилось освещать жалкую картину; продувал небольшой ветер, насквозь пропитанный какой-то неприятной влажностью, — всё это способно было до последней степени испортить настроение духа.

Войдя в овощную лавку, я нашёл там двух покупателей — дворника нашего дома и какую-то бабу, которую я почему-то сейчас же окрестил кухаркой. Встретив такое общество, я действительно почувствовал себя в неловком положении и, несмотря на то, что понимал бессмысленность подобной щепетильности и в душе обзывал себя самыми нелестными именами, я всё-таки не решился сделать свой заказ. Дело в том, что дворник знал меня, я встречался с ним каждый день и в цветущую пору моего бюджета раза три, кажется, давал ему на водку. И вдруг этот самый барин теперь спрашивает, ни больше, ни меньше, как сальную свечку и фунт чёрного хлеба! Очевидно, дворнику ничего не стоило тут же высчитать, что у меня имеется всего семь копеек, и он был бы совершенно прав, если бы вздумалось дать мне на водку... Я в одно и то

же время предавался этим соображениям и бичевал себя за них; когда лабазник устремил на меня свои глаза, я чуть не потерялся. При том дворник, узнав меня, отвесил мне поклон, что ещё ухудшило моё положение. Когда же я услышал роковой вопрос: «что прикажете?», то с удивительной решимостью и твёрдостью, и совершенно неожиданно для самого себя, произнёс:

— У вас можно достать бутылку рому?

Мой вопрос прежде всего удивил меня. Я спросил рому и стыдился выговорить «фунт чёрного хлеба».

— Нет-с, напитками не торгуем-с. — немножко удивлённо ответил лабазник. — Это вот сейчас за угол направо пожалуйста, — посоветовал он мне снисходительно, как бы говоря: «Экий простоватый малый, — не знает, что в овощной не бывает напитков!»

Но я, разумеется, очень хорошо знал, чего в овощной не бывает, и, последовав совету лабазника, поскорее вышел из лавки и бежал за угол. В другой лавке я уже не нашёл никого и потому без колебаний спросил то, что мне было нужно.

Когда я рассказал эту историю Каллистрату Ивановичу, он нисколько не удивился и нашёл, что так именно и следовало поступить.

— Но ведь это бессмысленно — стыдиться бедности, — возразил я.

— Стыдиться бедности вообще — бессмысленно, — рассуждал Каллистрат Иванович, уписывая с зверским аппетитом чёрный хлеб, — но в данном случае — нисколько. Фальшивое положение нужно прикрывать фальшивыми средствами. По нашему состоянию, нам следует занимать лачугу в подвальном этаже, Тогда не стыдно было бы делать подобные закупки. Никто и не удивился бы, а напротив, удивились бы, если б ты, выползши из подвала, спросил фунт керосину. Но раз мы занимаем комнату на третьем этаже, всякий имеет право требовать, чтобы мы покупали освещение, приличное положению на третьем этаже. В подвале мы жить не можем, потому что при наших не в меру нежных организмах на другой день лежали бы в больнице. Ну, значит, нужно кривить душой.

Когда хлеб был съеден, мы, чувствуя силь-

ную тяжесть в желудках, в то же время чувствовали самое ничтожное ослабление аппетита. Я, впрочем, обыкновенно ел немного и потом более или менее удовлетворился, но Каллистрат Иванович чувствовал себя в состоянии человека, который только разохотился есть. А это состояние, при отсутствии материала, несравненно мучительнее голода.

Пофилософствовав с полчаса, я напомнил своему сожителю об экзамене и, не желая мешать ему, разделся и улёгся под своё покрывало. Каллистрат Иванович принялся молча зубрить, причём иногда увлекался, таинственно произносил: «*qui musculus?*» [1], и, замирая на этом вопросе, опять погружался в безмолвное зубрение.

Прежде чем мне удалось заснуть, голова моя подверглась осаде совершенно непрошенных мыслей. Я никогда не считал пищу предметом удобным для приятного размышления. Тем не менее, когда я, поужинав полуфунтом чёрного хлеба, ёжился под одеялом, пища не выходила у меня из головы. В каких только видах она ни представлялась мне! То вспомнились мне вкуснейшие в мире пирожки, ко-

торыми угощала меня тётушка Каллистрата Ивановича, когда мы были в Одессе. Это были действительно замечательные пироги, за которые, если б тётушка захотела отправить их на парижскую выставку, она непременно получила бы золотую медаль; это были в полном смысле слова её мануфактурные произведения.

Удивительные пирожки! Но они никогда не казались мне так вкусными, как в эту минуту. То вдруг в моём воображении являлась чашка, наполненная большими гречневыми варениками, с которых так и льётся струёй свежее янтарное масло. Тут же при них и сметана, без которой они немислимы. Словом, одна за другой возникали такие роскошные картины, что когда я уснул, из них составилась роскошнейший в мире обед, которым тут же угощала меня тётушка Каллистрата Ивановича. Она была такою же толстою и такою же доброю, какого я оставил её два года тому назад в Одессе.

От этого пиршества меня оторвали странные звуки, которые я услышал сквозь сон.

— Чёрт знает что такое! Это наконец невы-

носимо! — вдруг раздалось над моими ушами. За этим последовал сильный звук, по-видимому кулака, ударявшего о стол.

Я проснулся и увидел Каллистрата Ивановича, собиравшегося, как казалось, рвать себе волосы. Он запустил обе руки в свою взъерошенную голову и, неподвижно уставившись в одну точку стола, казалось, что-то энергично обдумывал.

— Что с тобой? — спросил я, протирая глаза.

Мне, признаться, было-таки досадно, что мой отрадный сон был внезапно нарушен.

— Да ничего особенного. Спи, пожалуйста! — проговорил Каллистрат Иванович голосом, в котором слышалась сильная досада.

— Да как же спать, когда ты вопишь во всё горло? Что за поза у тебя трагическая!

— Да видишь ли в чём дело, — объяснял он как-то нехотя, — занимался я часов пять. Но знаешь ли, тут уж сил моих не хватило, — до того захотелось есть, что я, кажется, съел бы самого себя. Ну, помилуй, сам посуди, какие здесь могут быть занятия, когда в желудке у тебя кто-нибудь точно ломом ворочает? Ну,

на что это похоже? Ну, сам посуди, разве это не чёрт знает что такое!

Каллистрат Иванович наступал на меня решительно, как будто я именно и был виновником его страданий.

— А завтра экзамен! — продолжал он несколько спокойнее. — Ну, где тут полезут в голову мускулы, когда собственные мускулы от голода отказываются работать? Остаётся только отправиться к Груберу и пожирать трупы. Ей-Богу! В первый раз стошнит, а там ничего, можно привыкнуть! — пояснял он, насильно улыбаясь.

— Ты с ума сошёл?

— И не мудрено. При таких обстоятельствах обязательно с ума сходить. Фу, чёрт возьми, этак тошнит невыносимо!

— Ты выкурил бы папироску! Говорят, это уменьшает аппетит, — посоветовал я.

— Я и без тебя это сделал бы, если б нашёл хоть какие-нибудь признаки табаку, — угрюмо ответил Каллистрат Иванович.

Я встал с постели и достал три коробки, украшавшие комод. В них мне удалось кое-как добыть мельчайшего табаку, который го-

раздо удобнее было нюхать, чем курить. Скрутив папироску, я предложил Каллистрату Ивановичу. Он с видимым удовольствием закурил её.

Однако, положение наше было настолько серьёзно, что приходилось не на шутку задуматься. Продлись оно ещё день-два, мы станем близки к пожиранию друг друга. Я решил, как только взойдёт солнце обойти всех знакомых и во что бы то ни стало добыть денег.

Мой сожитель улёгся и, очевидно, довольный тем, что у него в зубах папироска, начал философствовать.

— Решительно не понимаю, — говорил он в раздумье, — для какой цели природа навязала человеку эту необходимость каждый день есть! Ведь могла же она сделать как-нибудь иначе! А уж если это, необходимо, то нужно было сделать так, чтоб всякий мог действительно каждый день насыщаться.

— Она не предусмотрела нас с тобой.

— Выходит, что она не больно предусмотрительна! — утешился Каллистрат Иванович и, бросив маленький остаток папиросы на

пол, повернулся на бок с очевидным намерением заснуть.

Остаток свечи сам собою потух, и мне осталось только сомкнуть глаза.

Утром я поспешил одеться и вышел на улицу. Утро было светлое, не из обыкновенных зимних. Ни одно облачко не мешало солнцу обдавать своими лучами весь громадный город, утренний мороз скрепил вчерашнюю грязь и превратил её в твёрдую землю; ветра не было, и свежим утренним воздухом приятно дышалось. Быть может, я хорошо чувствовал себя оттого, что я был полон розовых надежд насчёт цели моего путешествия. Весело перешёл я Неву и очутился на Выборгской стороне близ академии. Обойдя большую улицу, я повернул в довольно грязный, узкий переулок, называвшийся по имени одной из российских губерний, и вошёл в калитку небольшого деревянного домика. Был одиннадцатый час, когда я, поднявшись по грязной лестнице на второй этаж, спросил встретившуюся мне знакомую хозяйку-чухонку, дома ли Забаровы, и получил в ответ, что только что встали и пьют чай. Подумав, что

это очень кстати, я вошёл в коридор и постучался в дверь. «Войдите», — отвечал мне тоненький женский голос, и я вошёл.

Забаровы были очень молодые супруги, которых я самолично обвенчал в начале августа того же года. Венчал их, конечно, священник, но я был приятелем жениха, увёз для него невесту у родителей (разумеется, с её согласия) и уговорил священника обвенчать их. Впрочем, я должен упомянуть, что примирение с родителями произошло чуть ли не в тот же самый день. Обоим им было всего только сорок лет вместе, которые распределялись между ними почти поровну; оба обучались в Петербурге — один юридическим наукам, другая — словесным на новорождённых женских курсах. У них была небольшая комната, довольно жалко меблированная. У окна помещался несоразмерно большой стол, без ска-терти, рядом какой-то высокий шкаф во вкусе прошлого столетия, несколько просиженных стульев и две кровати. Тут же на стене висели две женских юбки, а рядом сюртук и брюки, принадлежащие мужу, что, взятое вместе представляло довольно оригинальную карти-

ну.

— У вас очень умная привычка — поздно пить чай, — проговорил я, здороваясь с супругами, и, разумеется, прежде всего получил стакан чаю.

Супруга наливала чай, супруг что-то старательно выводил на бумаге большими буквами.

— Денег, во чтобы то ни стало! — предъявил я свой ультиматум и при этом рассказал вчерашний случай с Каллистратом Ивановичем.

Выслушав мой рассказ, хозяйева искренно пожалели, а затем супруг начал старательно поглаживать свою русую бородку снизу вверх, супруга же вытирать платком свой хорошенький нос, хотя он был совершенно чист. Из этого я заключил, что у них денег нет, иначе они прямо предложили бы мне.

— Что это вы выводите? — обратился я к Забарову.

Он подвинул мне свою рукопись, где было написано громаднейшими буквами:

«Во все города и сёла европейской и азиатской России в качестве репетитора студент

желает в отъезд». Дальше следовал адрес Забарова.

— Весьма энергичное объявление! — заметил я.

— Вызвано энергическими обстоятельствами, — печально отвечал Забаров, прихлёбывая чай.

— Что так?

— Всё продано, заложено, как моя собственность, так и приданое моей супруги, — отвечал он, улыбаясь.

— Всего набралось ровно на пятнадцать рублей, — пояснила супруга, — на семь рублей его собственности, на восемь моего приданого.

— Ну, а если по этому объявлению вас пригласят куда-нибудь в Приамурский край или Камчатку?

— Хоть на самый Шпицберген или южный полярный материк, — решительно заявил Забаров.

— Да вы знаете, что наша квартира мало чем отличается от Камчатки? Сегодня вот ещё ничего, протопили, а третьего дня у нас в комнате стоял мороз. Тут тропических расте-

ний не разведёшь!

— А как же с экзаменами?

— Придётся отложить. Пусть хоть она выдержит, — отвечал Забаров, указывая глазами на супругу, которая ёжилась в сереньком плеле.

— Так-с! — протянул я, желая переменить разговор на предмет, более касающийся лично меня. — Так у вас на деньги не разживёшься?

— У нас сорок копеек. Если хотите, поделимся! — отвечала хозяйка.

Я, разумеется, захотел поделиться.

— Но при дележе вы, конечно, как соединённые Богом воедино, принимаетесь за одно лицо, — заметил я, сообразив, что в противном случае сорок копеек придётся делить на три части. В ответ на это я получил двадцать копеек, и так как дома меня ждал голодный сожитель, то я поспешил проститься с гостеприимными хозяевами.

Каллистрат Иванович уже проснулся, но ещё потягивался под одеялом. Весть о двадцати копейках произвела на него приятное впечатление. Тотчас же от Марьи Карловны был

потребован самовар. Эта почтительная особа, заметив, что место, на котором у нас помещался чай, было ничем не занято, поспешила заварить собственный. Наскоро мы составили домашний совет, на котором распределили наш капитал следующим образом: на семь копеек фунт хлеба, на девять полфунта сахару и на остальные четыре папиросы. Всё это было немедленно приобретено, и мы, увлѣкшись временным счастьем, были совершенно довольны. Каллистрат Иванович, например, запивая хлеб сладким чаем, уверял, что его вчерашняя тревога была в сущности преувеличена, и вся неприятность произошла оттого, что он, вероятно, проглотил муху; что трупы, в особенности жирнейшие из них, как и всякое жирное вещество, должны быть очень питательны и полезны, в особенности для жителей севера, ибо известно, что каждый эскимос выпивает бочки тюленьего жиру. Словом, шёл весьма оживлённый разговор в этом роде.

Однако, первые порывы восторга, как и всё на свете, прошли, и нас посетили мысли о дальнейшем существовании. Дело в том, чи-

татель, что большинство наших собратьев по занятию, как вам, разумеется, известно, живёт исключительно уроками. Но большинство из этого большинства, как вам, быть может, и неизвестно, чаще всего уроков не имеет, тогда оно живёт... как бы вы думали — чем? Надеждами, занимая друг у друга по двугривенному, пока эти двугривенные, наконец, не истощатся, закладывая и продавая всё своё имущество, пока, наконец, не останутся такие вещи, которые татарин не решается оценить и которые, как неоценимые, остаются в чемоданах, если последние ещё не проданы. Мы с Каллистратом Ивановичем в то время подводились судьбой под последние пункты; мы как раз принадлежали к большинству из большинства и находились именно в той поре, когда татарину заглядывать в нашу квартиру было незачем. По примеру других, мы уже месяца два жили надеждами, и вы застаёте нас именно в тот момент, когда мы убедились, что надежды весьма не питательны, словом, вы застаёте нас, так сказать, в момент разочарования. Мы уж начинали, подобно некоторым насекомым, питаться запасом

собственных организмов. Если бы вы, читатель, побывали в этот момент на нашем месте, то убедились бы, что это трагический момент.

Представьте, что у вас нет никаких шансов ни в настоящем, ни в будущем — решительно никаких. Надеяться вам не на кого, а сами вы человек слишком маленький, ничего не можете сделать. У вас нет того, что называется протекцией, и вы не чувствуете себя настолько дураком, чтоб надеяться, что вам повезёт... Представьте себе всё это... Нет, лучше не представляйте: ей-Богу, нехорошее положение...

— Как же быть, Каллистрат Иванович? — начал я после того, как восторг наш умерился. — Ну, положим, мы теперь напились чаю, так что до завтрашнего утра можем быть спокойны. Но что же дальше будет?

— Ну, об этом будем думать завтра. — ответил Каллистрат Иванович с беззаботностью, свойственной одним только птицам. — Знаешь ли, я теперь в прелестнейшем настроении духа; а если выпью ещё стакана три чаю, да заключу всё это папироской, то буду на

седьмом небе. А эти минуты так редки, что, право, не стоит омрачать их воспоминанием о мирской суете.

— Ну, брат, положение такое, что надо серьёзно подумать.

— Самое лучшее положение! — восторженно говорил мой сожитель. — В желудке чувствуется некоторый материал для пищеварения. Я даже ощущаю, что началось пищеварение — это очень приятное чувство; ты замечал когда-нибудь?

— Признаюсь, очень давно не чувствовал этого вполне. А знаешь ли, что я придумал? Bravo, очень остроумный способ! — воскликнул я, обрадованный собственной изобретательностью.

— Очень рад, рассказывай!

— И как мы этого раньше не придумали? Ведь у нас два костюма, один из них можно продать... Не правда ли, остроумно?

— Очень! — спокойно отвечал Каллистрат Иванович. — Сколько я понимаю, всё твоё остроумие клонится к тому, чтоб один из нас остался без костюма. Но твоё остроумие не ново. Ещё санкюлоты показали блестящий

пример.

— И прекрасный пример, так как мы будем санюлотами только в своей квартире, на улице же будем как все. Мы только иначе распределим своё время. Когда один уходит, другой будет сидеть дома, — продолжал я развивать свою идею.

— Итак, Каллистрат Иванович, у меня костюм собственный, мы его и продадим, а твой будет делиться.

Каллистрат Иванович в душе, очевидно, одобрял моё открытие, и так как он ничего не возражал, то я сейчас же занялся добыванием татарина. Пока татарин взбирался к нам по лестнице, я успел разоблачиться и забраться под одеяло. Каллистрат Иванович должен был торговаться, я же, в качестве только что проснувшегося, помогать ему. Результатом этой комбинации у нас явилось шесть рублей, которые представлялись невероятно большим капиталом. В перспективе виделись: обед, чай, табак и даже представлялась возможность отдать выстирать бельё, которое давно уж нуждалось в этом.

Каллистрат Иванович ушёл в академию; я

же выполз из-под одеяла и, предварительно полюбовавшись моим костюмом, который состоял в отсутствии всякого костюма, с совершенно спокойным сердцем продолжал мои занятия.

Звонок заставил меня встревожиться и запереть дверь. «Что, если какая-нибудь дама», — подумал я и уже приготовился сделать вид, что меня нет дома, как кто-то постучался в дверь.

— Отоприте! — говорил голос мужчины, в котором я тотчас же узнал жившего в том же дворе студента-ветеринара Шафиру.

Я отпер.

— Хе! Что это вы так налегке? — удивился гость, осматривая мой костюм.

Я объяснил причину.

— Да-с, скоро и мне придётся мало-помалу разоблачаться. Ах, не будет больше войны! — со вздохом говорил Шафира.

Шафира принадлежал к категории тех немалочисленных людей, которые чуть не с пелёнок видели себя окружёнными безвыходной бедностью. Он был еврей. Отец его занимался каким-то ничтожным ремеслом где-то

в царстве польском и в продолжение уже многих лет не давал о себе знать. Много лет перебивался сын кое-как изо дня в день, поддерживая своё существование, и однако же успевал платить в академию, так как для евреев-ветеринаров единственный путь к освобождению от платы — принятие христианства. Внешний вид его всегда был жалок: в продолжение пяти лет его плечи не носили нового платья, вечно носил он какое-нибудь старое, приобретённое на толкучем рынке, обедал чуть ли не по праздникам только, чай пил у приятелей. Но вот нагрянула турецкая война, и обстоятельства Шафиры изменились. Он попал в качестве фельдшера на войну, где из порядочного жалованья сумел составить кое-какой остаток. У него завелось приличное бельё и платье; вот уже шесть месяцев он исправно каждый день обедал и вообще жил по-человечески. С полным правом применял он к себе поговорку: «не бывать бы счастьем, да несчастье помогло!»

— Да, войны больше не будет! — продолжал вздыхать Шафира. — А моё сбережение совсем уже приходит к концу. Последний чер-

вонец разменял, и из него осталось всего рубль тридцать копеек. А что будет дальше — не знаю. Вот курс оканчиваю, а для чего — право, не могу сказать.

— Как для чего? будете ветеринарным врачом.

— Где? У кого? А вы забыли, что я еврей, и что евреям-ветеринарам не дают казённых мест. Прикажете надеяться на земство — но наше земство не больно охоче до ветеринарных врачей.

— А что вам стоит принять христианство?

— О, это очень дорого стоит! С одной стороны презрение за ренегатство, с другой — вечное глумление, вечная насмешливая улыбка... Вы не забывайте, что тот круг, с которым я связан кровью, стоит на первобытной ступени развития, он зверски фанатичен и умеет также сильно презирать ренегатство, как любить своих... Нет, я не могу этого сделать. Ну, — продолжал он, помолчав, — что же вы намерены сделать с вашими шестью рублями?

Я начал основательно высчитывать ему и, к своему ужасу, увидел, что за всеми мелки-

ми расходами нам решительно ничего не остаётся на обед.

— Э, ничего, пустяки! — утешал меня Шафира. — Вот кстати и я возвращусь к своему обычному образу жизни.

И он начал с любовью вспоминать всевозможные случаи из той долголетней поры, когда он обедал только по праздникам. В этих разговорах мы не заметили, как прошло время, и Каллистрат Иванович возвратился. С ним вместе пришёл и Забаров, которого он встретил на улице и пригласил полюбоваться моим костюмом. Каллистрат Иванович был в восторге, лицо его сияло.

— Во первых, у Грубера я получил «sufficit» [2], - объяснил он, — и во вторых, сейчас отправляюсь на урок.

— На урок? — переспросили мы все в один голос.

— Да-с, на урок, а вы как думали? Да ещё какой урок! — торжественно продолжал Каллистрат Иванович. — Сейчас же нужно составить приличный костюм.

Началось генеральное переодевание. Забаров должен был пожертвовать своими брюка-

ми, Шафира сюртуком. Кое-как приспособили галстук и другие принадлежности. Каллистрат Иванович был отправлен на урок. Гости, внезапно оставшиеся в полукостюмах, вместе со мной с нетерпением ждали его возвращения. Прошли часа два, послышался нетерпеливый звонок, и мой сожитель с шумом вбежал в комнату.

— Храбрость города берёт, а я взял город! Поздравьте, господа!

Мы поздравили.

— Где ж твой город?

— Он здесь! — ответил Каллистрат Иванович, показывая на сжатый кулак. — Много перенёс я страху, — это правда. Однако — всё по порядку. Прихожу по адресу — батюшки-святые! Швейцар в такой ливрее, что я его принял за египетского жреца, посмотрел он на меня грозно: «Кого, говорит, вам нужно?» Очевидно, мой внешний вид не позволял ему думать, чтобы мне там кого-нибудь было нужно. Я прочитал ему по записке. Он как будто удивился, однако, снисходительно показал. Иду по лестнице и не знаю — идти ли мне по ковру, или так, сбоку, ковёр — прелесть, что

такое! Я бы не прочь из него костюм сделать — такой хороший. Звоню. Выходит маленький господин в сером пиджаке с серыми бакенбардами, с серыми маленькими глазками и выбритым подбородком. «Кого?» — спрашивает. Я вижу, что не лакей. «Я, — говорю, — по рекомендации такого-то»... Тут я вспомнил, что повара тоже являются с рекомендациями и прибавил: «Учитель». Как сказал я это слово, лицо маленького господина выразило такую радость, словно ему подарили миллион. «Ах, очень приятно познакомиться! Я ждал вас, а потому вот, как видите, сам даже вышел отпереть дверь!» Помог даже мне повесить плед. «По пледу узнаю, что вы истинный студент. Хаживали, хаживали и мы когда-то в пледах!» Он даже вздохнул: «Ах, было время! А знаете ли, я всегда находил, что плед — это самое удобное одеяние для зимы! Право». — «Но теперь ты нашёл более удобное, понимаю!» — подумал я и ждал, в какое святилище введут меня. «Пожалуйста, говорит, в мой кабинет». Пожаловали. Чёрт знает, чего только не оказалось в этом кабинете, но, господа, ей-Богу не могу сказать вам, что

именно там оказалось, потому что многому не знаю ни названия, ни назначения. Тут я пригляделся к моему патрону. Несмотря на свой маленький рост, он довольно величествен, голову держит на подобие льва, так что лицо принимает чуть не горизонтальное положение: довольно плотен, хотя не толст, волос на голове носит очень мало... Отрекомендовался, домовладелец и гласный, фамилия какая-то знакомая, часто встречал в фельетонах. «Вы университетский?» — «Нет, — говорю, — медик». — «А-а!» — многозначительно произнёс домовладелец, и лицо его на минуту омрачилось, но сейчас же отошло. «Беспокойный народ — эти медики, впрочем, я вижу, что вы хороший человек!» Поблагодарил. Приглашают садиться. Я со всего размаху в кресло, которое оказалось до того мягким, что я совсем утонул в нём. Мне показалось, что я не так сел, как следует; но когда я увидел хозяина, также утонувшего в своём кресле, сомнения прошли. Патрон оказался красноречивым. Он говорил полчаса без умолку. Существенного, правда, мало: он очень любит студентов, сам был студентом, но у него благора-

зумие всегда брало перевес, он смотрит на многое сквозь пальцы, ибо молодость, горячая кровь и прочее. К «Московским Ведомостям» относится с презрением, ибо это камень, стоящий поперёк дороги истинным гуманным деятелям, но с удовольствием читает «Голос» и даже иногда помещает там свои маленькие грешки. Я решил приступить к делу и заговорил о цели моего посещения. «А, это пустяки! Мы, без сомнения, сойдёмся. Условия у меня хорошие, работы немного»... Всё это оказалось верно, и я поднялся с места, чтобы раскланяться. Мой патрон также поднялся и объявил, что всегда готов служить мне всей душой, напомнил ещё раз о своей любви к молодёжи. Я принял это к сведению. «Не можете ли, говорю, дать мне вперёд часть моего жалованья?» Патрона очевидно удивила такая бесцеремонность, да и в самом деле это, кажется, неприлично, — сразу, по первому знакомству, просить денег, да ещё за будущий труд. Ну, скривился, а всё-таки говорит: «С удовольствием, очень рад служить!» — и дал. Не дать нельзя было, потому что перед тем больно уж рассыпался в уверениях. При-

том же он человек, очевидно, добрый, и моя просьба только немножко шокировала его. Заниматься с маленьким сыном, работы мало. А вот и город!

При этом он разжал кулак и положил на стол пятирублёвую бумажку.

— Как получил от патрона, так и принёс в руке. Спешил ужасно. Ну, господа, теперь мы смело можем идти обедать!

— Но как же мне быть? Не отправляться же в этом костюме? — спросил я, не видя исхода.

— Позвольте-ка, я вам сооружу костюм; у меня кое-что есть! — сказал Шафира.

Он отправился в свою квартиру и принёс оттуда кое-что из прошлогоднего одеяния. Все облачились.

Через десять минут мы были уже в кухмистерской. Каллистрат Иванович торжественно повесил на шею белую салфетку, чего прежде никогда не делал, и был ужасно похож на ребёнка, которому привесили бакенбарды. Он спросил себе сразу два обеда и действительно, как после оказалось, съел их без малейшего затруднения.

— Удивительно давно обедал, — говорил он, приспособляясь ко второй тарелке супа. — И, кажется, забыл даже, как нужно ложку держать. Всё как-то неловко, рука отвыкла.

— А, Галкин, здравствуйте! — произнёс вдруг Каллистрат Иванович, подняв глаза и сильно нахмутив брови.

Мы все подняли глаза, и каждый из нас также поспешил сделать сердитую физиономию, из чего можно заключить, что эта встреча была неприятна. Галкин с каким-то особенным, преднамеренным почтением подал всем нам руку. Оживлённый разговор, против нашей воли, вдруг сменился упорным молчанием.

— А вы как сюда попали? — спросил его Каллистрат Иванович после продолжительного молчания. — Разве у Палкина сегодня закрыто?

Последний вопрос он произнёс с особенным ударением. Галкин покраснел от злости и сильно сжал находившуюся в его руке ложку.

— Нет, вы скажите, как вы сюда попали? С каких это пор вы стали иметь обеда? — с

нескрываемой злостью произнёс Галкин.

— Очень сердито сказано! И вы серьёзно думаете, что сказали мне неприятность? — с той же улыбкой ответил Каллистрат Иванович.

Галкин, кажется, сам понял, что смеяться над бедностью очень уж пошло, и покраснел ещё больше.

— Я вовсе не имел в виду сказать неприятность! — пробормотал он в свою тарелку и начал быстро уничтожать суп.

— Впрочем, если угодно, я могу сообщить, что я обедаю каждый день, в некоторые же дни, как, например, сегодня, съедаю даже по два обеда, — довольно торжественно солгал Каллистрат Иванович.

По поводу Галкина я позволю себе на минуту остановиться, мне кажется, что он имеет на это некоторое право.

Галкин был товарищ Каллистрата Ивановича по гимназии и по курсу. На вид это был свежий, дородный юноша, лет двадцати, с румяным лицом, голубыми глазами, всегда низко остриженный. Одевался он небрежно, хотя всегда носил всё чистое, плотное и доброкаче-

ственное. У него водилось на всякий случай особенное платье, которое он и носил применительно к случаю, но в академии и у товарищей его видели всегда в одном и том же сюртуке. Галкин был богат, вырос в купеческой семье, где вполне усвоил все привычки и инстинкты этой среды и, несмотря на влияние среды студенческой, никак не мог отделаться от «купечества». Его тянуло к комфорту, он не мог равнодушно проходить мимо Палкина, но когда заходил туда, то старался, чтобы этого не узнали товарищи. Для отклонения всяких подозрений, он исправно посещал плохенькую кухмистерскую, которая приходилась ему всегда не по вкусу, и делал над собой усилие, преодолевая тарелку щей. Обладая значительным состоянием и имея возможность удовлетворять все свои потребности, Галкин, по-видимому, имел все данные считать себя счастливым человеком. А между тем, этого не было. Будучи по натуре человеком общительным, он не мог приобрести себе ни одного приятеля, которого уважал бы хоть сколько-нибудь. Лучшие товарищи сторонились от него, несмотря на его заискивания и

зазывания. В нём было что-то отбивавшее охоту к откровенности, его присутствие вызывало официальный разговор и производило скуку. Бывали примеры, что ему удавалось сойтись с каким-нибудь товарищем, но не проходило недели, как товарищ начинал избегать его. Иной раз он просто выдумывал какое-нибудь важное дело, по поводу которого зазывал к себе кого-нибудь. Тотчас являлись самовар, сливки, всевозможные закуски, откупоривалась бутылка вина, требовалось пиво, но сейчас же обнаруживалось, что гость ничего не хочет. Почему? У него расстроен желудок, или он только что плотно закусил, словом, приводились основательные причины, и гость уходил, а Галкин злился и мучился. Его мучения усиливались оттого, что он никак не мог понять, почему всё это происходит. Казалось, он удовлетворял всем условиям хорошего товарища: исповедовал общепризнанные ходячие идеалы, хорошо пил в компании, бранил кого следует, никогда не отказывался помочь товарищу в нужде, а между тем, выходило всё не то. В том-то и дело, что Галкин делал всё это не потому, что

ему хотелось, не потому, что считал это хорошим, честным, так думал и чувствовал, а потому, что хотел втереться в студенческую среду. Это было заметно, но он этого не понимал. Ссужая товарищу рубль, он непременно считал своим долгом прибавить: «Ты, пожалуйста, ко мне обращайся, когда будешь нуждаться, я всегда готов помочь!» И обыкновенно бывало так, что товарищ или тут же отказывался от этого рубля, или если и брал, то на другой же день спешил возвратить его. А Галкин не понимал, удивлялся и злился. В особенности хотелось ему сойтись с Каллистратом Ивановичем и Забаровым; ещё в гимназии они считались между товарищами за «лучших», да и здесь скоро заслужили репутацию уважаемых людей. Но это решительно ему не удавалось, несмотря на то, что Каллистрат Иванович всю зиму носил его осеннее пальто, так как сам Галкин ходил в шубе.

Этому обстоятельству Галкин, кажется, придавал громадное значение, что страшно мучило моего сожителя, который много раз уже собирался возвратить ему пальто и ни разу не мог этого сделать, потому что тогда

ему пришлось бы замёрзнуть. Обозлённый неудачами, Галкин собирал вокруг себя кучу прихлебателей, которые найдутся всегда и во всякой среде, и отводил с ними душу в трактирах, убивая время так, как было ему по душе.

На этот раз он быстро пообедал и, пожав нам руки, по-прежнему почтительно удалился.

После обеда мы попросили себе пива, и Каллистрат Иванович провозгласил тост: «за здоровье моего патрона и за укрепление в нём любви к учащемуся юношеству».

* * *

Вечером, впрочем, мой сожителю жаловался на неприятную боль в желудке.

— Желудок отвык варить приличные количества, изленился, а тут ему предлагают разом два обеда. Нельзя же требовать, чтоб он вдруг, после продолжительных вакаций, принялся за такую грандиозную работу. Ну, надеюсь, что теперь «желудочная вакация» повторится, по крайней мере, не ранее месяца.

— А знаешь, что я придумал? — заговорил он опять. — Ты вот там даром мараешь бума-

гу (я действительно имел эту привычку), а ничего дельного не написал ещё. Отчего бы тебе не описать этих пертурбаций, что произошло с нами вчера и сегодня. Во-первых — поучительно, а во-вторых — прославишь наши имена в потомстве. В продолжение, мол, двух суток вели неустанную и ожесточённую борьбу с обстоятельствами и одержали победу. Разве не поучительно?

Результатом последнего разговора и явился этот маленький очерк.

1899

Примечания

МЫШЦЫ ИЗ ТЕХ, КТО — ЛАТ.

[^^^]

достаточно — лат.

[^^^]